

Владимир Алейников

СИЛУЭТЫ И ТЕНИ

Силуэты и тени. Люди — те, кто живы, и те, кого нет на свете, но для меня все они, безусловно, живы, пусть и в памяти, потому что живо то, что создано ими, и останется это надолго, а возможно, и навсегда. И над каждым из них восходит в небесах, неизменно ясных, а поэтому и прекрасных, и сияет его звезда.

Силуэты и тени. Звук, очертивший незримый круг, ставший музыкою земной, той, что рядом всегда со мной.

Силуэты и тени. Свет, из далёких пришедший лет на страницы мои, чтоб вновь закипала, как прежде, кровь.

Силуэты и тени. Лад, выше башен и всех оград, крепче стен и мостов, сильнее всех ненастных минувших дней.

Кто откликнется мне теперь?

Не закрыта для встречи дверь.

И распахнуто вновь окно.

Что же было — тогда, давно?

Что же стало родным почти?

Всё, что смысл обрело в пути.

Из пространства — сквозь время — весть.

Всё, что было, — и всё, что есть.

Генрих Сапгир. Поэт.

Конечно, авангардист.

Другого такого — нет.

Упитан был и речист.

Когда-то — был нищ и худ.

Потом — раздобрел. Усы

отпустил. В нём и кайф, и труд

сочетались — во все часы,

все дни и все годы. Писал

для детей и для взрослых. Жил —

широко. Цену слову — знал.

Со всей богемой — дружил.

Напоказ — не тужил ни о чём.

То скрытен был, то открыт.

Характер здесь — ни при чём.

Причину — строй и быт.

Дети его — любили.

Взрослые — тоже любили.

Дети у Генриха — были.

Друзья среди взрослых — были.

Много было друзей у Сапгира.

Не вмещала всех их квартира.

Не вмещала всех их — Москва.

Вся страна — вмещала едва.

Может быть, и не все, на поверку,

были друзьями.

Были, скорее, приятелями. Товарищами.

Большинство.

Но со всеми Генрих общался. Пусть

разбираются сами.

Кто из них друг? Не важно. Важно —

что любят его.

Ценят его. Понимают.

Стараются понимать.

Всех Сапгир — принимает.

Всех идёт — обнимать.

Всех Сапгир — приветчает.

Всех угощает вновь.

Всё Сапгир — примечает.

Вот вам и вся любовь.

Обиды — не забывает.

Делает вид — что забыл.

От людей — ничего не скрывает.

Ну, пьёт. Но и раньше — пил.

Ну, гуляет. И раньше — гулял.

Безобразничать, правда, не любит.

Лишь души он — не оголял.

Знал, что это порою — губит.

Душу он от людей — берёт.

Сердце — вот оно, нараспашку!

Мог он друга спасти — видит Бог.

Неимущим — отдать рубашку.

Жил свободно. Прощал долги.

В ресторанах кутил, бывало.

С пьяных глаз не видел ни зги.

Мгла его с головой скрывала.

Протрезвев — он работал. Был

он рабочей лошадкой. Хваткой.

Ничего, что гулял и пил.

Временами — грустил. Украдкой.

Но старался, навеселе,

не хандрить, завязать с тоскою.

Был он — гостем. На всей земле.

Мир был — вечной чистой доскою.

Был — хозяином. На пирах.

Был он в центре любых компаний.

Всюду помнил он — о дарах.

Избегал он всегда — страданий.

Жизнь есть праздник. А может, сон?
Жизнь есть радость. А может, сказка?
Размышлял и об этом он.
Находилась всегда подсказка.
Жизнь — удача? Зелёный свет?
Жизнь — кошмар? Или всё же — чудо?
Жаждал чуда он. Был — поэт.
И стихи он читал — повсюду.
Где бы ни был он. Пусть — Париж.
Пусть — Москва. Сингапур? Годится.
В небесах он летал, как стриж.
Всем хотел он впрок насладиться.
Всё — впитать в себя. Всё — постичь.
Шелест листьев. Маразм барака.
Всюду некий он чуял клич.
Скорпион был — по зодиаку.
Мог за тридевять он землю
оказаться, под настроенье.
А ещё любил — Коктебель.
Здесь ждало его — вдохновенье.
Море пело ему: живи!
Окрылённый, он вторил морю.
Жил он — искренне. Жил — в любви.
И — с судьбой никогда не споря.
Всё сложилось само собой.
Утряслось. Устоялось как-то.
Был доволен Сапгир — судьбой.
Знал он должную цену — факту.
Не метался, как все вокруг.
Шёл, упрямо, неспешно, — к цели.
Был Сапгир — настоящий друг.
И остался таким — доселе.
Пусть и в памяти. В книгах. Пусть.
Это — важно. И это — много.
Я твержу стихи — наизусть.
И судить не берусь я строго.
Ни о нём самом. Ни о том,
что написано им. Не надо
забывать на месте пустом,
сколь был сложен выход из ада
к свету райскому. Генрих — чист.
И душою, и сердцем. То-то
улыбается он, артист, —
знать, опять приберёт щедроты
для людей — там, где он сейчас
пребывает. Но где — не знаю.
И его — уж в который раз —
не случайно — я вспоминаю.
Для детей — сочинял он пьесы для театра
кукол. Сценарии для мультфильмов, оригиналь-
ные. То есть был ещё и драматургом.
Переводил стихи и сказки Овсея Дриза.
Издавал, в огромном количестве, регулярно,
из года в год, книги детских своих стихов, по-
пулярных, доселе читаемых.
Творчество же для взрослых сапгировское —
статья не из простых, особая.

Был довольно известным в богеме самизда-
товским давним автором.

Познакомился с ним я осенью шестьдесят
четвёртого года. И тогда же мы подружились.

Жил Генрих тогда на улице, название коей ни-
как не вспомню, неподалёку от шумной улицы
Горького, в сторонке, на тихой улице, ответвляю-
щейся от центральной вправо, если идти пешком
от площади Маяковского к Белорусскому, встарь
воспетому Пастернаком в стихах, вокзалу.

Там, в доме, ничем решительно в то время не
примечательном, в заурядной, типично москов-
ской, коммунальной советской квартире, была
у него своя комната.

В этой комнате регулярно собирались в далё-
кие годы весьма интересные люди.

Вся компания лианозовская — ученики Евге-
ния Леонидовича Кропивницкого.

И прочие. В основном сапгировские приятели.
Но зааживали и другие.

Здесь читали стихи. Постоянно.

Спорили — так, для проформы, далеко не все-
гда, иногда.

Выпивали — в охотку, частенько.

Просто так собирались порой — вечерок ско-
ротать, покалякать, хоть немного всем вместе
побыть.

Здесь висели картины: Рабин, Кропивниц-
кие — и остальные художники авангардные, ле-
вые, полуподпольные.

Здесь Сапгир писал свои пьесы.

Черновики этих пьес, чтобы комнату не за-
хламлять, он выбрасывал в туалет — солидные
пачки бумаги с машинописью, густо правлен-
ной лёгкой рукою поэта, всегда находились там
и всеми гостями использовались обычно по на-
значению.

Генрих был всегда при деньгах.

Зарабатывал он хорошо.

Всё складывалось у него, в смысле заработ-
ков, удачно.

Был он всегда востребован.

Был любим — как детский поэт, уважаем
в московских издательствах, выпускающих
в свет его книги.

В мире кино и театра относились к нему
с симпатией.

Вполне устроенный в жизни, мог он вполне
позволить себе после трудов праведных рассла-
биться, погулять.

Частенько был под хмельком.

Нередко — попросту пьяным.

Ещё без усов знаменитых, уже не худой,
а полнеющий, вальяжный, можно сказать,
сидел он в центре компании, внимающей ве-
черами ему, вдохновенно читающему стихи
свои, новые, свежие, — а по просьбе гостей —
и старые.

Читать на публике он любил. И умел это делать.

Наверняка сохранились магнитофонные записи.

Читал он в своей манере, темпераментно, артистично. Наблюдал за реакцией слушателей.

Очень любил, когда все его тут же хвалили.

Произношение было у него весьма характерное, этакое французистое.

Использовал он всевозможные речевые эффекты, любил вовремя, с толком расставленные там, где надо, акценты и паузы.

Всем известное:

— Взрыв!.. Жив!..

Или:

— Как маш, как маш, и на, и на, и на!.. Как машина!.. —

это из книги «Люстихи», из любовной его лирики.

Ревновал, случалось, к другим современным друзьям-поэтам.

К Бродскому, например.

Говорил иногда:

— Это надо же, какая, с такой скучищей в некоторых его поэмищах, под которые, при его, Иосифа, чтении, преспокойно выспаться можно, и проснуться, и ровным счётом ничего ведь не потерять, у него широкая слава!

Целых тридцать пять лет Сапгир, непрерывно, то больше, то меньше, — всё зависело от настроения и от выпитого накануне и с утра ещё не поправленного, или вовремя, с чувством, с толком, с расстановкой, как говорится, с удовольствием явным выпитого, потому и определившего превосходное настроение на весь день, уж точно до вечера, чтобы вечером подкрепиться новой выпивкой, ставшей поводом для хорошего настроения, для душевных бесед, после чтения или слушания стихов, с интересом, всё возрастающим, то ли к выпивке, то ли к поэзии, да не всё ли равно, если был он в дни любые, в любых состояниях, неизменно, самим собой, а вот это и важно в поэте настоящем, а он был всё-таки настоящим, я это знаю лучше многих, поверьте на слово мне сейчас, — ревновал ко мне.

Но и тянулся ко мне, открыто, искренне, сам.

Ему интересно было со мной. Да и мне интересно. Мы дружили, можно сказать.

Он ценил меня, уважал, выделял всегда — как поэта.

По-дружески, по-человечески — даже любил, пожалуй.

Был долгий, славный период, лет пятнадцать подряд, наверное, когда мы с ним, лишь за вычетом отъездов моих из столицы, виделись постоянно.

Помню, в пору моих бездомниц, долгим, с выпивкой, с чтением нами обоими наших тогдашних стихов, согревших сердца и души людей богемных,

шумным дружеским вечером, в семьдесят четвёртом году, зимой, на вопрос лобовой одной приотившей меня у себя в коммунальной квартире дамы обо мне, к теплу и уюту привыкающем:

— Он талантливый? — Генрих, выгастив для порядка в коридор её, негромко, но зато по-сапгировски пылко, убедительно, так, что я, находившийся в комнате, слышал слова его, прозвучавшие для этой дамы приказом, руководством к действию или, вполне возможно, заветом, всё годилось тогда, сказал ей:

— По-моему — очень талантливый!

И дама, очень ценившая личное мнение Генриха, отнеслась ко мне с максимальной нежностью и заботливостью.

Генрих был по-своему добрым человеком. В меру, но был.

Помогал друзьям. Привыкал к ним.

Жизнь его долго делилась на две неравные части.

Первая часть, поменьше, считанные часы, — работа, необходимая, вынужденная, для заработка.

Вторая, значительно больше, — для сочинения собственных стихов, для общения бурного с людьми, ему симпатичными.

Юмор всегда был при нём и нередко его выручал.

Изредка, временами, Генрих бывал и грустным.

Почти всегда — заводным, хмельным, живым, увлекающимся.

И столько было в его поведении от игры, что становилось понятно, почему он умеет писать для детей, — потому что это было ему дано! — и этот вот игровой, немаловажный, момент, присутствие увлекательной, интересной, полезной игры, всегда, совершенно во всём, в чём принимал он участие, где находился тогда, выпивал, разговаривал с кем-то, читал кому-то стихи, — настраивал обычно на хороший лад, неизменно привлекал внимание, втягивал в общую, вдруг разросшуюся игру, — да, именно так.

С ним было мне легко. Легче намного, нежели с другими друзьями богемными.

Солидная разница в возрасте — почти восемнадцать лет — как-то не ощущалась.

Он любил мои ранние книги — за их новизну, как потом, целыми десятилетиями, не забывал он подчёркивать.

Думаю, прежде всего за то, что стихи эти были по-своему авангардными.

Когда манера письма у меня постепенно стала более традиционной — только внешне, для всех подчеркну, и более, нежели в ранних вещах, глубокой и сложной — внутри, в структуре самой, в особого рода образности, в синтезе, в полифоничности зрелых моих вещей, — Генрих воспринимал их уже с натугой, не сразу, и не всё до него доходило.

А может быть, да, конечно, и это скорее всего, просто сказывалась давнишняя привычка, даже инерция, встарь ещё укоренившаяся в нём: авангард, и только.

Ревновал. Почему? Потому что сам он так не писал.

Поглядывал вроде бы издали — со своего привычного, рабочего, личного поля — на моё, рабочее, личное, поле творческой деятельности — и, понимая, что каждому своё, что в работе своей я ушёл далеко вперёд, всё-таки оставался при своём, упрямясь, артачась, продолжая на собственном поле собственные идеи разрабатывать и выращивать свои, по старинке, всходы.

Он всё же немного лукавил. Чего-то недоговаривал.

Авангардист, новатор — любил он поэзию русскую, страстно, преданно, издавна, — в том числе и традиционную внешне, по форме, то есть все лучшие образцы её.

Когда в середине смутных, как бы временных, девяностых, в Коктебеле, зашёл я к нему в комнату, где обитал он, из Москвы приехав, на первом этаже окружённого зеленью корпуса в Доме творчества, увидел я, прямо с порога, сразу же, вовсе не взятые с собою на юг авангардные, как могло бы, наверное, быть у поэта-авангардиста, по его настроениям, книги, а лежащие у изголовья, на тумбочке, две, всего-то, и достаточно этого, книги — это были Тютчев и Фет, с собою Генрихом взятые, для души, от большой к ним любви.

Сам же Генрих снова читал мне стихи свои, нановейшие, разумеется — сверхавангардные.

Живой человек, живые, меняющиеся пристрастия.

И в период нашего СМОГа был Сапгир неизменно живым, да ещё каким ведь живым, всех живее вокруг, человеком!

Относился к тому, что мы делали, вовсе не с любопытством, богемным, недолгим, временным, и не просто с малозначительным, поверхностным интересом, но более чем внимательно.

Думаю, нас, тогда совсем ещё молодых, он всё-таки понимал.

По крайней мере, двоих поэтов — меня и Губанова.

Остальные смогисты для Генриха — были уже потом. После нас. Интерес к ним брезжил в отдаленье — и угасал. Почему? До сих пор не знаю. Но — догадываюсь: по причине их ненужности — для Сапгира. И — его авангардного мира.

С Губановым вскоре Сапгиру общаться стало непросто — из-за Лёниной непредсказуемости.

Он предпочёл общаться со мной, человеком воспитанным.

И — привык постепенно ко мне.

И я к нему — тоже привык.

Старший друг. Важно было мне знать: есть у меня такой вот хороший, надёжный друг.

Мы с ним как-то разумно, сразу же, не сговариваясь ни о чём, распределили наши личные сферы влияния и области наших личных творческих интересов.

У меня всё было — своё, у него всё было — своё.

Даже в бедах один к другому в душу мы сроду не лезли.

Проявляли всегда деликатность.

Понимали оба отчётливо: почему-то, волею судьбы, но иначе, так получалось, в этой жизни, с её кошмарами чередой, мы друг другу — нужны.

Свои новые тексты всегда Генрих читал мне первому.

Разыскивал специально меня, в период бездомии моих, приезжал туда, где временно я обитал, стихи мне читал — и жаждал поскорее узнать моё мнение о новых своих сочинениях.

Приезжал и в квартиры мои, до и после моих скитаний.

Приезжал, потому что считал: есть у меня особое ухо, за ухом обычным, то есть слух на стихи — абсолютный.

То, что я говорил ему о стихах его, с глазу на глаз, Генрих крепко запоминал.

Сам я читал стихи свои с годами ему — всё реже.

Предпочитал дарить книги свои самиздатовские, чтобы Генрих, в домашних условиях, тексты читал с листа.

Я ещё напишу о Сапгире в других частях своей серии книг о былой эпохе «Отзывчивая среда».

А пока что — вижу его, поэта, в шестидесятых.

Вот он, в возрасте вроде бы зрелом, но достаточно молодом ещё, года за три до сорока, душа развесёлой компании, среди картин, бутылок, рукописей и книг, в окружении чутко внимающих ему, своему поэту, восторженных, вдохновенных, в меру хмельных людей крылатых шестидесятых, — вот он, стихи читающий, весь — в голосе ясном своём, в этих пружинных вибрациях, раскатистых интонациях, понижениях бархатистых или вдруг повышениях тона, в чёткой, отточенной дикции, в игровых, заводных переливах звуков, и рой ассонансов, резких ритмических сдвигов, грассирующих перепадов окружает его, человека орфического, как и всех собравшихся здесь гостей, — а за окном коммунальной, прокуренной, тесной комнаты зима, февраль, и в Москве — белый снег и неистовый СМОГ.

Сапгир пострадал из-за СМОГа.

Не приняли мерзопакостные начальники-негодяи Сапгира в союз писателей.

Обозвали Сапгира — фюрером. Не чего-нибудь там, а смогизма.

Каково было это услышать?

Но Генрих не растерялся.

Перешёл в союз драматургов.

Там его с ходу приняли.

Наплевать на советских писателей.

Видели не одни они — видел ещё и Бог, что Генрих душою всею принимал и приветствовал СМОГ.

Игорь Сергеевич Холин.

Высокий, очкастый, костистый.

Может быть, жилистый? Нет.

Плотная, длинная, твёрдая кость — под кожей. Мослы, сухожилия.

Очки — тяжёлые. Из-под очков — трезвый, холодный, колючий, иногда ещё и насмешливый, изредка — добродушный, но всегда — из-под стёкол, из-под прикрытия, как из укрытия, как на фронте, как при опасности, всегда начеку, всегда, по сигналу тревоги, поднятый в ружьё, всегда в карауле, всегда — есть! — наизготовку, в случае необходимости сразу же мобилизованный, без надобности — обычно сроду не возникающий, сам себе дающий отбой, сам себя ровно в срок пробуждающий, цепкий, бывалый, тёртый, много чего кому-нибудь вроде бы и говорящий, но всё же предпочитающий невозмутимо помалкивать, жёсткий, плотно закрытый от слишком уж любопытных, в присутствии странном своём неизменно, что делать — привычка, где-нибудь постоянно отсутствующий, чтобы если уж появиться, то внезапно, застать всех врасплох, сложный, седой, аскетический, чуть подёрнутый влагой, талый, принимаемый всеми как данность, страшноватый, как у анатома, наблюдательный, как у разведчика, бьющий в цель без промаха взгляд.

Еле-еле, как стебелёк сквозь асфальт под ногами прохожих, пробивающаяся улыбочка на сухих, поджатых упруго, как у пастора протестантского, раскрывающихся иногда — лишь для короткой фразы, для дельного замечания, для мудрого изречения, для житейского поучения, но больше, так уж сложилось, существующих — для молчания, для резко, сознательно суженного речевого, впритык, пространства, в котором, увы, и единственному слову-то тесновато, не то что внезапно явленному целому монологу, вырезанных грубовато, зримо, просто, как на игрушках деревянных, продукции наших российских народных промыслов, без особых затей и без лишних, никому не нужных примет, на висячий замок невидимый зачастую закрытых губах.

Руки — длинные.

Ноги — крупные.

Шаг — широкий, устойчивый, твёрдый.

Походка — не то чтобы лёгкая, не спортивная, но молодая какая-то, не зависящая ни в коем разе от возраста.

Повадки — сплошные загадки, зачастую без всякой отгадки, повадки — штрихи к портрету человека без тени, прошедшего немалую школу жизненную.

Да так ведь оно и было.

И куда не сплыло.

Холин — легенда. Богемная.

Военная. И тюремная.

Барачная. Не смешная.

Отечественная. Земная.

Холину — всё дозволено?

— Как, вы не знаете Холина?

Холин — практичность, ясность ума, рассудительность, обстоятельность — во всё, что он делал, что говорил, даже в том, о чём он молчал.

Холин с виду — римский сенатор. Бритое удлинённое лицо, короткая стрижка, выразительная седина.

Холин — сама независимость: как хочу я, так и живу, я вас теперь не трогаю — и вы меня лучше не трогайте, я к вам ни с чем не лезу — и вы ко мне вовсе не лезьте.

Холин — острое лезвие, зажатое крепко в руке, протянутой для приветствия.

Но Холин — ещё и гостинец, протянутый в этой же самой, уже раскрытой, широкой ладонью кверху, руке.

Загадочный человек.

Многими — так и не понятый.

Таинственный. В окружении сплетен и вечных баек.

Из окружения этого выходил он — во всеоружии, то есть был он вооружён до зубов — своими стихами. А позже — и прозой своей.

Его уважали. Побаивались.

Не любили — так откровенно.

Любили — так убеждённо.

Выделяли — везде и всегда.

Никому он себя не навязывал.

Был — собою. И это — главное.

Это было мне в нём — интересным.

Привлекало. Давало повод не единожды для размышлений. Мы общались довольно тесно, пусть не так, день за днём, год за годом, в лабиринтах бесчашья, часто, как с Сапгиром, но всё же частенько.

Доброе наше знакомство с Холиным длилось тоже тридцать пять долгих лет, как и с Генрихом.

Одновременно почти, в шестьдесят четвёртом году, с ними обоими я, тогда молодой, познакомился.

Одновременно почти, вначале, первым, в июне девяносто девятого, Холин, а потом, через несколько месяцев, осенью, вслед за другом своим, и Сапгир, они умерли.

Оба связаны были учёбой у старика Кропивницкого.

Были тандемом таким дружеским, да и творческим.

Если кто-то встарь говорил: Холин, — то вскоре он же говорил непременно: Сапгир.

Если звучало: Сапгир, — то далее было: Холин.

Были они по всем, как говорится, статьям не похожими друг на друга, но всё-таки соединёнными общей судьбою, наверное, чем-то свыше, той силой, которая выбирает пути людские, избирает из общей массы людской, временами, лишь некоторых и сталкивает их вдруг, сознательно их сближает, одаривает их дружбой, общими интересами, оставляя при этом их личностями полностью самостоятельными, по причине их проживания в России — поэтами русскими, по причине их принадлежности к авангарду — в достаточной степени интернациональными, так я считаю, ведь авангард иногда стирает черты национальные, творчеству придавая некую странную планетарность, что ли, приемлемость в разных странах подлунного мира, — были оба они людьми, о которых можно сказать куда ёмче и проще, по-русски, по-простому: кремень и кресало.

Они высекали — огонь.

В их конкретном случае — творческий.

Холин ко мне был внимателен, ещё со смогистских времён и до последних своих лет, когда изредка с ним виделись мы в ПЕН-клубе, иногда на общем собрании, иногда на предновогоднем вечере, мероприятиях не больно-то интересных и, в общем, невразумительных.

Он и в старости, надо заметить, держался всегда молодцом.

А в шестидесятых годах, ещё до своих пятидесяти, когда мы общались с ним в гуще событий, чтений, посиделок во всяких салонах, хождений по мастерским, встреч почти деловых и приятельских, был он в полной силе своей, был вполне на месте в столице, — и только молва разносила: «А знаете, Холин сказал»; «А слышали, Холин опять написал такое, что просто...» И вмиг — ветерок с говорком кулурным, непредсказуемым, со смешком, с хохотком, с юморком, с посошком скороспелого слуха полетел по Москве: шу-шу-шу! — с любопытством, с живым интересом, — поскорее узнать бы, когда и где он читать вознамерится свою новую, клёвую вещь!

— Как, вы не знаете Холина?

Да, вы его не знаете.

Всех он ещё удивит!..

И — удивлял. Озадачивал. Огораживал даже, бывало.

Давал по башке. Мозги встряхивал. Поражал.

Холин — чуть ли не монстр? Да что вы?!

Холин — мэтр? Постарайтесь сами разобраться.

На то он и Холин, чтоб о нём вспоминать иногда. Слышу голос его негромкий.

Пусть расслышат его потомки.

Озадачатся?

Удивятся?

Разберутся?

Не без труда.

А вот и ещё один Генрих. Поэт. Но уже — Худяков.

Человек деликатный, задумчивый, внутри себя долго живущий, глядящий меланхолически сквозь время, будто заглядывающий за некую, только ему и видимую, черту, присутствующий где-нибудь — неизменно, всегда отсутствуя, отсутствующий — присутствуя, ну точно, да вот он, смотрите-ка, находясь где-то близко, вот здесь, в поле зрения вашего, рядышком, а нет, показалось просто, и нет его — но он и есть, человек высокого роста, длиннолицый, спокойный, сдержанный, тихий, тихоня, казалось бы всякому, — да, это так, но тишина в нём была — пружинистая, с фантазией, и отделённость от всех была, скорее всего, защитой мечты, или — тайны, или — страсти, допустим — к прекрасным путешествиям в области слов, превращаемой в область снов, бормотаний, противоречий, столкновений смыслов и тем, или, может, к иным путешествиям и мечтам, с которыми сжился он, — и входил он в пространство, как парусник, оснащённый жюль-верновской техникой фантастической, впрок, на потом, а порою казался он птицей, а ещё моделью летучей, в небе детства свободно парящей, — таковы и его стихи.

То он записывал их не слева направо, в строку, а сверху вниз, по слога, вертикальными, с вязью буквенной, чуть извилистыми полосками, иероглифами, по-китайски, то выворачивал их наизнанку, словно рубашку, то разбрасывал, словно брызги дождевые, по крошечным книжечкам, самолично сделанным им, и раздаривал эти книжечки, и на каждой писал: «Автограф».

То из Фроста, а то из Шекспира возникали темы его.

Наив:

— Пойти, что ль, на телёнка посмотреть?

Вопрос, изогнутый ключом:

— Ли быть, ли нет?

Цикл коротких стихов — «Кацавейки».

Что-нибудь ещё — по привычке, в нежданном, негаданном роде.

С выдумкой вечной сквозь выверт.

Но интересен был он, человек и поэт, мне всегда.

Бывало, говорили мы часами.

О чём? Не ваше дело. Знаем сами.

О том о сём. Устроит вас? Ну, то-то.

Беседы наши были — сплошь щедроты.

Беседы наши были — откровенья.
Прозренья жили в них и дерзновенья.
Стихи кружились в них подобно птицам.
И свет открытий пробегал по лицам.
Потом решил покинуть он Россию.

Уйти в пространство новое. В стихию.

В тепле грядущем руки отогреть.

Уехать. «На телёнка посмотреть?»

Не знаю. Но решенье в нём — созрело.

Встряхнуло душу. Птахою запело.

Призывно. За собою повело.

Куда? За словом, ищущим число.

Помню, как встретил его на холодной пустынной улице, направляясь в гости к Сапгиру.

Худяков, худощавый, задумчивый, измождённый вконец, шёл туда же.

Сказал мне тихо, растерянно:

— Тоска! Хочу выпить — и не с кем. Куплю бутылку сухого, найду в какой-то подъезд, выпью там. В одиночестве. Сам. Выйду потом из подъезда. И дальше иду куда-то. Всё дальше иду. Куда?..

Году, наверно, в семьдесят четвёртом, случайно, встретил его в запущенном сквере возле Киевского вокзала.

Был он вместе со Львом Халифом, человеком бравым, бывалым, известным, но не стихами, а романом своим «ЦДЛ».

Оказалось, что оба они — вскорости уезжают.

Зашли, поначалу прикинув, где бы нам провести сегодня, на прощанье, часок-другой, все вместе, вина купив, к живущему неподалёку художнику Лёве Дурасову.

Посидели там. Помолчали,

Выпили символически.

Попрощались. Уже навсегда.

Больше я Худякова не видел.

Оказался он, путешественник в дебрях речи родной своей, далеко от Москвы, в Америке.

Жизнь в свободной, но в то же время совершенно чужой стране оказалась вовсе не сладкой. Для него. Получилось — так.

Писал ли там он стихи?

Не знаю. Может — писал.

Пиджаки он там — разрисовывал.

Получались в итоге абстракции.

Худяковские. Неповторимые.

Их можно было носить, но также — на стену повесить, как холсты, и смотреть на них.

Всё-таки — не кацавейки.

В девяностых годах он вроде бы писал уже настоящие, с размахом, с полётом, холсты.

Огромные вещи. Абстракции.

Однажды устроил выставку.

Никто на неё не пришёл.

Как он сейчас живёт — совершенно не представляю.

Чем он занят — в своём далеке, в заграничном, глухом одиночестве?

Здесь, в Москве, где все его знали, был, конечно, он чудачком, но зато и поэтом. Помнит ли, как читал он:

— Ли быть, ли нет?..

Овсей Овсеевич Дриз.

Выглянувший из сказки в кошмарную повседневность седой мечтатель. Поэт.

В безрукавочке меховой сидел себе в уголке на сборищах у Сапгира, вино попивая. Смотрел глазами своими прозрачными — сквозь всех. Но куда? Кто знает!

Сутулился, вдруг собираясь в пушистый тёплый клубок. Волшебную нить вытягивал оттуда. Струною она вдруг становилась. Являлись шагаловские скрипачи, играли. Дриз улыбался.

Метель за окном бушевала.

А здесь все были — свои.

Хорошо, когда люди — рядом.

Особенно в холода.

Уютно. Тепло. Спокойно.

Стихи читают. Вина достаточно. Сварят кофе. Чашечка невесомая, фарфоровая, кузнецовская, в руке — словно птичка. Певчая.

Свеча на столе. Погасшая.

Но можно зажечь. Горит.

Горит, никого не корит.

Горит, о судьбе говорит.

Жёлтое пламя. Чёрная тьма за окном, с седую метельной, серебряной, пепельной.

Дриз чему-то вновь улыбается.

Но чему? Поди догадайся.

Не получится. И не пытайся.

Мечтатель седой. Молчит.

В уголке. В меховой безрукавочке.

Глаза свои щурит прозрачные.

Скрипачи ему что-то наигрывают.

Время тянет волшебную нить из клубка, за окно она тянется, вьётся в небе метельном, теряется в круговерти неведомой, вроде бы возвращается, вьётся над ним.

Дриз глядит на неё. Улыбается, доброй сказкою в мире храним.

Гена Цыферов. Детский писатель.

Тоже — сказочник. Может — волшебник.

Всё могло у нас быть в Империи.

Всё бывало. И Гена — был.

Соавтор Сапгира. Надёжный.

Многолетний. Любимый. Талантливый.

Ценитель ясного слова. Не бунтарь никакой, не оратор.

Супруг крупнейшей дамы по прозвищу Император.

Чей-то ещё — супруг.

Людам славным — преданный друг.

Добрый увалень. Человек высокий, очкастый. Светлый.

Весь — из Моцарта. Прямо из музыки.

Выйдет из дому — словно из древнего родового замка — в жестокую, с пьянью, с нечистой всяческой, явь.

Улыбается — всем и всему. Призадумавшись, молча идёт по московским бульварам, по улицам.

То на солнышко тихо сощурится, то глядит на деревья, то слушает воркование голубей.

Удаляется тихо в пространство. Приближается вдруг из времён явно сказочных к нам — навсегда.

Внимательный к людям. Тактичный.

Со своей оценкою личной.

Классиков. И современников.

Собутыльников. Соплеменников.

Книжки писал хорошие для детей. Выпивал, бывало. Но тогда выпивали — все.

Радовался: поэзии, речи русской, природе, всегда его окружающей, всюду, во всей красе.

Жить бы ему да жить.

По стогнам столичным бродить.

Друзьям помогать и знакомым.

Вдохновляться с детства искомым.

Чем же? Чудом. Взглядов. Речей.

Тайным жаром ночных свечей.

Скромным благом еды, питья.

Непостижностью бытия.

Изумрудным плеском листвы.

Благодарностью всей Москвы.

За талант его, весь в цвету.

За внимание. Доброту.

За любовь. Ко всему. Ко всем.

Жил он щедро. И знал — зачем.

А он почему-то — умер.

Сапиру так его часто, хоть кричи, нет — и всё, не хватало!

Не только соавтор, но — друг.

Причём настоящий. Верный.

Сокрушался Генрих. Страдал.

В Коктебеле, в семидесятом, всё он Цыферова вспоминал. Посмотрит порой на деревья — и сразу же вспоминает, как подойдёт, бывало, Гена Цыферов, чуть подвыпивший, добрый, гостеприимный, нежный, к дереву, обнимет его, приговаривает с любовью:

— Родное моё!..

И — другим деревьям в округе тихо шепчет:

— Родные мои!..

И тихонько, задумавшись, плачет.

И голос у Генриха вздрагивал, и глаза мгновенно влажнели.

Хорошим был человеком Гена Цыферов. Настоящим. Чистым. Искренним. Честным. Высоким.

Весь — из Моцарта.

Может — из света?

В свет — ушёл.

Стал светом весенним.

Согревает и обнимает все деревья в мире истерзанном. Говорит:

— Родные мои!..

Гена Распопов. Скульптор.

Борода густая. Глаза с искорками весёлыми.

Приветливый, добрый, крепкий, размашистый человек.

В мастерской у него, на Добрынинской, собирались мы часто встарь.

Читали стихи. Выпивали. По традиции. В меру. Всегда.

На стене висела, белея то ли снежною белизной, то ли отсветом смутным больничным, гипсовая, похожая на источник света нездешнего, маска Лёни Губанова.

Сам Губанов, живой, говорливый, храбро пил с Распоповым водку.

Приходили гости, рассаживались на расшатанных табуретках. Начинался очередной, всем приятный, московский вечер.

Засиживались допоздна.

Метро было близко, по счастью.

До закрытия — все успевали.

На такси добирались домой в те года только в крайнем случае, да и то — если деньги были.

Через несколько дней, прошедших в суете, в кутерьме столичной и в трудах, — снова шли к Распопову.

Он встречал, он всех привечал.

Человек уникальный крылатых, невозвратных шестидесятих.

Общение! Вот что было важнейшим тогда для нас.

Поздний свет в окнах кривеньких старенького, со скрипящими половицами, с потолками высокими в трещинах, но с добротными стенами, дома.

Сугробы, ну прямо арктические, огромные, во дворе.

Беседы наши в тепле.

И компания тёплой была.

Хорошей, действительно. Дружной.

Потом Распопов уехал. Куда-то совсем далеко.

В заморские тёплые страны, где птичье пьют молоко.

Где тропики, пальмы, бананы, океанские волны, рай.

Отсюда, увы, не видно, где находится этот край.

Чуть ли не на Таити. Ну что ж, его можно понять.

Уехал — отнюдь не туристом. Работать. Что-то ваять.

Почти как Гоген. Похожей судьба хоть в чём-то была.

Вернулся. В Москве трудился, как прежде. Ну и дела!

Виделись мы всё реже. После воли — какой покой?

Он умер. В душе остался свет в окнах его мастерской.

Ещё один Гена. Геннадий Бессарабский. Отличный скульптор.

Автор памятника Тургеневу — замечательно-го — в Орле.

Я этот памятник видел. Радовался за Гену.

Был он сокурником Эрнста Неизвестного. Эрнст о нём с уважением и симпатией не единожды вспоминал.

Потом его неожиданно, по неясной какой-то причине, почему-то парализовало. Ноги вдруг у него отнялись.

Прикованный долгие годы к своему инвалидному креслу, оставался он человеком полноценным во всех отношениях.

Страстно любил стихи.

Очень меня выделял из всех. Поддерживал всячески. Бородатый, само собою разумеется, смуглый, с горячими, прямо огненными глазами, очень работоспособный, на редкость умный, воспитанный, добрейший, добрее некуда, страстный, искренний человек.

Мастерская его, на улице Архипова, справа, если идти по улице вниз, рядом с тихой в шестидесятых, в дни безвременья, синагогой.

Длинный стол деревянный, скамьи.

Жарко горящие свечи.

Маша, Генина верная, преданная, чудо просто, и только, жена, удивительная, спокойная, вся светлая, добрая фея, хранительница очага.

И вдохновенный Гена, собиравший нас у себя, живейшее, постоянное участие принимавший в деятельности нашего, легендарного ныне, СМОГа.

Боже мой! Как я помню его!

Как я вижу его сейчас отчётливо, словно здесь он, близко, рядом! Как слышу его хорошо, различая каждое произнесённое им, неспроста, наверное, слово! Как, мне кажется, лишь сейчас я его наконец понимаю!

Почему, почему же в прошедшие чередой густой, быстрою, за смогистской порою, годы, годы бурь, и роста духовного, и невзгод, и надежд, и свершений, всё реже и реже к нему я заглядывал на огонёк, а потом и вовсе, ведь надо же, перестал, чужак, заходить?

Не знаю. Право, не знаю.

Такое святое, чистое, родниковое отношение к поэту, какое было у него, человека мудрого, особенного, ко мне, молодому, — поистине редкость.

Я хранил его образ в душе.

Мысленно с ним беседовал в период бездомии долгих.

Я возил повсюду с собою, как завет его, как талисман, записанные им, Геной, для меня, чтобы помнить об этом, в середине шестидесятых,

в грозовую, безумную пору, чётким почерком, на билете в музей Андрея Рублёва, пушкинские слова:

«Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв, мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв».

Гена был для меня примером человеческой, личной победы над житейскими обстоятельствами жесточайшими, над судьбой.

Был всегда он самим собой.

Был он труженик настоящий.

Взгляд — и отсвет свечи горящей.

Голос тихий — и ясный свет.

Слов его. Всех минувших лет.

Всех прозрений. И всех событий.

Свет наитий. И свет открытий.

Свет душевный. И свет сердечный.

Свет негаснущий. Значит — вечный.

Гена был человеком дивным.

Днём с огнём не найти такого на распутье эпох, на стыке двух веков, посреди междувременья.

Гена был мне великим другом.

Был. Я знаю.

Он тоже умер.

Но живёт он — в своих трудах.

Как и прежде, в былых годах.

Но живёт он — в моих речах.

И в стихах моих — при свечах.

Взгляд его — различаю вновь.

Пробегает по жилам кровь.

Слово каждое — как алмаз.

Только слёзы текут из глаз.

Только щурюсь я вдруг на свет.

В нём — спасенье. И смерти — нет.

Через тридцать с лишним прошедших после встреч наших с Геной лет, после дружбы с ним, драгоценной для меня, старый друг мой, Михаил Соколов, передал мне — от Маши, Гениной верной подруги, наперсницы, музы, вдовы, — небольшую, но выразительную, светлую, свет в себе таящую, или творящую, светом внутри говорящую, светом ритма и форм поющую, светом знать о себе дающую, светом память мою озаряющую, светом правды остаться желающую, светом веры ко мне вошедшую, грань забвения перешедшую, чтобы светом сиять и в будущем всей душой и сердцем любящим, белую, словно свет, незамутнённый, чистый, удивительную статуэтку, вылепленную им, Геной, давным-давно, в середине шестидесятых.

Я увидел — себя, стоящего с закинутой головою, вдохновенного, молодого, читающего стихи.

Сразу вспомнил, как Гена хотел мой портрет когда-то лепить.

Он не только меня, поэта, девятнадцатилетнего парня, в ореоле смогистской славы, читающего, изваял.

Он — голос мой изваял.

Выразил звук — в образе.

Образ наполнил — звуком.

Сумел передать — и порыв, и полёт, и восторг,
и транс.

И — молодой мой голос...

Так. Вспоминаются дамы.

Судьбы. События. Драмы.

Темы: самые разные.

Дамы. Значит — прекрасные.

Дина Мухина. Дама поистине удивительная,
особенная, со своим, гармоничным, прекрасным,
от вторжений всяких извне годами оберегаемым,
чистым по-детски, миром, со своею, лишь ей
одной известной, в душе хранимой, словно свет
целительный, тайной.

Художница. Очень талантливая.

Керамикой занималась.

Маленькая, энергичная, с характерным своим
говорком.

Жена знаменитого Эрнста Неизвестного,
скульптора, спорившего когда-то, на выставке
шумной в Манеже, с самим Хрущёвым.

Держалась Дина в тени своего, прошедшего
ужасы войны, решительно вставшего на защиту
искусства свободного в нужный час, отважного
мужа.

В тени этой — было светло.

Источником света была, разумеется, Дина
Мухина.

Эрнст это — понимал.

Свет в тени — принимал.

Были супруги дружны, по-своему. Были счастливы.
По-своему. Были они людьми совершенно
разными. Но держались, во всяком случае, в шестидесятых, — вместе.

Как на войне. Поскольку Москва не фронт,
но порою обстановка в ней, так получалось,
была почти фронтовой.

Рисковали здесь — головой.

Жизнь была здесь всегда — грозовой.

Сложной. Бурной. Сверхнапряжённой.

С чем-то страшным и впрямь сопряжённой.

С чем-то дивным слитной навеки.

Жизнь была — в живом человеке.

Жизнь была — в жизни их четы.

В проявлениях доброты.

В уважении их — друг к другу.

В отношении — к новому кругу.

Ада, что ли? Спросите у Данта.

Жизнь была — развитием таланта.

(Звёздный путь. Нескончаемый дар.

В тёмном небе — светящийся шар.

Круг магический. Коло. Сфера.

Грань. В грядущем — новая эра.)

Дина с Эрнстом были приезжими.

Людьми со взглядами свежими.

На искусство. И на богему.

Как теперь говорится, в тему.

В Москве — прижились, освоились.

Но вовсе не успокоились.

Покой, как известно, лишь снится.

Что делать, если не спится?

Работать. Они — трудились.

Успехов они — добились.

Трудились упорно дальше.

Открыто жили, без фальши.

Всё было у них — честь по чести.

Славно смотрелись — вместе.

Оба они — с Урала.

Что ж, поднимаю забрало!

В бой! За правое дело!

Вели себя они — смело.

И особенно — Эрнст. Везде.

Шёл — к победе. К своей звезде.

Воевал. Утверждался. Всюду.

Проходил сквозь преграды. Рос.

Всё в нём было — только всерьёз.

Дина больше стремилась — к чуду.

Помню, как сквозь летящую золотую листву,
сквозь дымку лиловатую над столицей, сквозь
какой-то благодатный, тихий, удивительно свет-
лый дождь, за которым хотелось видеть не
строения городские, а волшебную радугу, осе-
нью шестьдесят четвёртого года потащила меня,
вместе с Лёней Губановым, познакомившим
нас, в хороший, наверное, день, потому что чи-
тал я стихи, и стихи мои были приняты, были
поняты, были по сердцу моей новой знакомой,
на прежних непохожей, особенной, это я видел,
Дина к себе домой.

Там, в обычной московской квартире одно-
комнатной, пустоватой, без прикрас, без богем-
ного шика, без художественности ненужной,
артистичности показной, очень скромной, при-
ятной, убранной аккуратно, чистой, спокойной,
почему-то носившей, мне так показалось тогда,
следы недавнего, налетевшего ураганом воен-
ным, разгрома, битвы, что ли, какой-то, ярост-
ной, разразившейся в этом гнезде, неизвестно за-
чем, стояла тишина, и домашний уют, в каждой
вещи, в любом предмете, освещённом спокой-
ным, приветливым, никуда не спешащим светом
из окна, был столь очевидным, что почувствовал
я себя здесь как дома и улыбнулся человечьему,
с доброю, в тёплом воздухе разлитую, с от-
кровенностью золотую в ясном взгляде хозяйки,
жилью.

Там спала безмятежно в кроватке дочь Эрнста
и Дины, Оля.

Там на стенах висели тарелки керамические.
Чудесные.

Словно птицы туда слетались из волшебных
краёв поднебесные.

Словно песни там зазвучали незнакомые мне,
лирические.

Вот какие тарелки были предо мною тогда керамические.

Это были — видения дивные.

Это были — творения Динины.

Увидев своими лучистыми, пронизательными глазами таинственной доброй феи сказочной, но скорее, так лучше, глазами талантливой художницы, их создательницы, что мне они очень понравились, Дина спокойно сказала, что было их много, да вот почти все, увы, перебили.

Была здесь изрядная выпивка, публика собралась богемная, колоритная, кого ни возьми, о ком ни подумай — личность, и только, личность, ещё и какая, с характером каждый, с претензиями, с вопросами к окружающим, с неслыханным сомнением, с амбициями, с гордыней в душе, с упрямством, со взрывчатостью внутри, до поры до времени каждым сдерживаемой, но ждущей повода только малейшего, чтобы вырваться вдруг наружу; пили, пили, пока всё не выпили, а потом, конечно, добавили, а потом и по новой добавили, а потом, набравшись гуртом, опьянев до последней степени, разгоревшись, раздухавшись, раскрасневшись, разговорились, оживились, внезапно взвинтились, раскричались, и вот прорвало их, за груди хватая друг друга, норовя доказать своё, тут же, сразу, всех убедить в правоте своей, утвердиться в торжестве своём над соратниками, собутыльниками, соперниками, в споре, в жизни, в питье, в искусстве, стали все выяснять немедленно, кто и как, лучше, хуже ли, так себе, на четвёрочку, или на тройку, или даже на двойку с минусом, что совсем уж зазорно, братцы, ну а может, и на пятерку, даже с плюсом, бывает всякое, в этой жизни своей крест несёт.

Эрнст, багровый, с глазами быка, налитыми бешеной кровью, шёл вперёд, как таран, на любого, кто ему возражать пытался, рвался в бой, наклоня слегка свою голову крепкую, с жилами на висках, разбухшими так, что звенели они, как струны, рвал рубахи ворот, ярился, рукава засучив, хрипел на гостей, в атаку готовый устремиться, всюю бушевал.

Гена Айги, поэт, маленький, как подросток, никакой не боец, а так себе, свидетель невольный битв, очевидец, не летописец, со страху забрался под стол — и там переждал бушевавшую над его головою бурю.

Выясняли свои отношения заядлые, пьяные спорщики не только на убедительных, или не очень, словах.

В ход пускали и кулаки.

Причём всё чаще и чаще.

Всё привычнее. Всё смелее.

Никого вокруг не жалея.

Как несёшь свой крест? Нет, не так!

Ну а ты? Вообще никак!

Ты — получше? Большой вопрос!

Получай-ка за это в нос!

Ты несёшь дольше всех из нас?

Получай-ка за это в глаз!

Крест — судьба? Пусть потом — потоп!

Получай-ка за это в лоб!

Вот какие были недавно фронтовые здесь сиделки.

Потому-то и перебили, в ход пуская их в драке, тарелки...

На столе у Дины лежали — аккуратно перепечатанные на хорошей белой бумаге плотной — стихи Айги.

Буря, видимо, их не коснулась.

Потом — почему-то — Дина потащила нас с Лёней Губановым именно к Гене Айги.

Что её повело туда?

Может быть, воспоминание тёплое — о сидении Генином под столом во время всеобщей битвы?

Как, мол, там наш поэт?

Успокоился ли? Отдышался ли?

Создаёт ли, на радость поклонникам своим, авангардные, новые, сверхсовременные, то есть такие, каких ещё не бывало в русской поэзии и в европейской, верлибры?

А может, и не верлибры?

Камлания? Заклинания?

Поди разберись! Магические, языческие писания.

Пришлось нам уважить Дину и ехать с ней к Гене Айги.

Дома его, поэта модного, не оказалось.

Отсутствовал. Может, в музее Маяковского находился, где сидел в уголке Кручёных, попивая остывший чай и беседуя с ним неспешно о поэтике футуристов.

Ну а может быть, где-то в гостях, разомлев от спиртного, в облаке сигаретного дыма паря над столом, над притихшими, видимо, от почтения к явному классику авангарда, интеллигентными, с виду, полубогемными, так, для приличия, чтобы слишком среди прочих не выделяться, в кольцах, в бусах янтарных, дамами, почитательницами таланта поразившего всю столицу образованную поэта, он читал им свои стихи.

Всякое быть ведь могло.

Мало ли где находился в тот день осенний Айги!

Только дома его с утра, как оказалось, не было.

Не было и сестры Гениной, Евы Лисиной, известной чувашской писательницы.

Была здесь только Луиза, другая сестра поэта, слегка не в себе, но тихая.

Толя Зверев однажды за несколько мгновений, по вдохновению, находясь под парами винными, написал, на глазах у собравшихся в доме Айги

гостей, её портрет потрясающий, причём при этом он пользовался только окурком, пеплом да ещё какими-то странными, простейшими, вроде вина красного, минимальными, подручными, как и всегда, чтоб далеко не ходить и ничего не искать, довольствуясь тем, что есть перед ним, художником, средствами.

Получился шедевр. Музейная вещь. Настоящий, высший пилотаж. Как сказал бы Сапфир, улыбаясь в усы, — маэстрия.

Не знаю, где, по прошествии более чем сорока лет, сейчас, в наши дни, находится эта работа.

Может, она — у Евы.

Дом, в котором жил Гена Айги со своими родными сёстрами, деревянный, довольно большой, находился в Москве, но ещё и в настоящей старой деревне, расположенной высоко на речном берегу, над Сетункой, где-то за всем в столице знакомой Мосфильмовской улицей, этак двойственно — прямо в городе, спору нет, да никто и не спорит, согласитесь, но, факт есть факт, вещь упрямая, как известно всем на свете давно, и в деревне.

Приобрести его Гене помог в своё время Твардовский, после того как Айги перевёл на чувашский язык, хорошо, знатоки считали, поэму «Василий Тёркин».

Напоминал этот старый, деревянный, скрипучий дом, а вернее сказать — изба деревенская, очень сильно увеличенные часы-ходики, в виде домика, затейливого, симпатичного, бывали раньше такие.

Гену Айги мы так и не дождались тогда.

Уехали восвояси, под лепет невразумительный сиявшей глазами детскими из полумглы избяной, бревенчатой, шаткой, скрипучей, городской, вполне вероятно, да всё-таки деревенской, сестры поэта, Луизы.

А с Диной Мухиной я порою, изредка, виделся.

Редкостных, надо сказать прямо, достоинств женщина.

Юра Арндт, Юрий Андреевич, сосед мой по Коктебелю, сын Ариадны Арндт, скульптора очень хорошего, женщины, прожившей долгую, трудную жизнь, из круга давних друзей Волошина, сказал мне однажды, у нас, в Киммерии, вдали от Москвы, уже в конце девяностых, что теперь Дина Мухина пишет ещё и стихи замечательные.

И слава Богу, что так.

Со словом Дина всегда — я-то знаю — была дружна.

Лариса Галкина. Тоже художница. Тоже — хо-рошая.

Выставлялась она когда-то, в середине шестидесятых, на смогистских, уже легендарных, так вот время идёт, вечерах.

Была она долгие годы приятельницей Распопова. Там с нею мы и познакомились.

Тихая. Очень скромная.

В ней грусть была — неуёмная.

В ней радость была — величайшая.

Тишина в ней была — глубочайшая.

По-настоящему — я-то знаю, что говорю, за слова свои отвечаю, и давно, и теперь, — ода-рённая.

Светом ясных высот — озарённая.

Хрупкая вроде, худая, бледная, птичка маленькая.

Но в ней энергия творческая — была всегда велика.

Была художница — труженицей.

И работы её давнишние, мне запомнившиеся надолго, темперы в основном, выполненные в особенной, характерной её манере, с проскрёбыванием обычным лезвием для бритвы по красочному, бугристому, шероховатому слою высветляющихся, мерцающих, вибрирующих фрагментов, сливающихся в единое таинственное видение, хороши были очень, светились в полумгле ма-стерской, двоились, разрастались, одна в другую странным образом переходя, вырывались из рам, стремились к свету, к людям, жили своєю, неза-висимой, цепкой жизнью, продолжались в памяти, словно дальний шум ночного дождя.

Проявляла порой и характер.

Твёрдость духа. Ясность ума.

К одиночеству привыкала.

Всё умела делать — сама.

Вспоминаю её комнатёнку.

Чистота. Простота. Уют.

Выживала. Растила ребёнка.

Вот и птицы в судьбе — поют.

Вот и шелест лиственный — нежен.

И не страшен — житейский ад.

Вот и взгляд её вновь — безбрежен.

Вот и дело идёт на лад.

Появляется постепенно вереница новых работ.

Остаётся вдали мгновенно череда минувших забот.

Вырастает реальность новая — за окном, за стеной, вокруг.

Прямота правоты суровая. Век и труд. Маги-ческий круг.

Добрая в жизни, отзывчивая, в творчестве светлом своём — упорно, за шагом шаг, шла своєю дорогой.

Да и в жизни, в быту, в общении способна была на поступки.

Ко мне, с нашей первой встречи, была она очень внимательна, особенно в слишком уж трудные для меня, скитальца бездомного, изму-ченного, усталого донельзя, мои периоды.

Носик остренький, птичьи глаза, худень-кие, как на фресках египетских древних, плечи,

прямая, как струнка, спина, пепельные, легчайшие, невесомые, тонкие волосы, белые крепкие руки рабочие — вот Лариса.

Больше четверти века, оставшегося позади, я не видел её.

Жива ли? Что с ней сейчас?

Где её уникальная живопись?

Ничегошеньки я не знаю.

Остаётся — лишь вспоминать.

Соня Губайдулина. Известнейший композитор современный, с мировым, так сложилось всё с годами, именем.

Композитор — с особой судьбой.

Авангардный, само собой.

Соня — птица, на воле парящая, но отнюдь не птица в силках.

Дама, свет Востока таящая в непокорных, дерзких зрачках.

— В струны великих, поверьте, ныне играет Восток, —

далеко не случайно сказал грядущее чуввший Хлебников.

Сложен мир, ничего не поделаешь, а порою и просто жесток.

Выжить в нём удаётся не каждому. Нет ни правил таких, ни учебников.

Но уныние — грех, как известно. И спасенье — в труде. Всегда.

И над эхом восточной песни разгорелась всю — звезда.

В струны Сонины в полную силу Восток играет сейчас.

Да и раньше ведь это было. Проявлялось вдруг. И не раз.

И звучали Сонины струны — сквозь каноны минувших лет.

И вставали вдали кануны дней, приемлющих странный свет.

Диковатый. Крутой. Восточный.

Чуть пугающий. Но — живой.

С ключевой водой проточной.

С гордо поднятой головой.

С горьковатой полынной мглюю.

С угольками костров ночных.

С далью, сшитую вкось иглою.

Из лоскутьев. Из слов родных.

С высью звёздной. И с глубиью тёмной.

С упоительной тишиной.

С неизбежной снов укромной.

Чтобы в яви расцвётить дневной.

С чем-то выстраданным сквозь время.

С возрастаньем извечным тем.

С тем, что пройдено встарь — со всеми.

Что останется — насовсем.

На моём, поразившем сограждан собравшихся, авторском вечере в ненавидимом нами Доме литераторов, в феврале шестьдесят шестого, смогистского, с отголосками бурь недавних

и событий печальных, года, Соня слушала, как я читаю стихи свои, словно слушала в тихом зале звучавшую музыку мою, молодую, светлую, музыку — навсегда.

После вечера — Соня тут же подошла ко мне и при всех высказала большое желание написать музыку на мои стихи тех времён, свою, губайдулинскую, авангардную, современнойшую, такую, какую она услышала в речи моей тогда.

Не помню теперь, почему я так и не отдал ей тексты.

Желание так и осталось — доселе — просто желанием.

Соня была женой Марка Ляндю, поэта, жившего в Томилино, в домике финском, возле поля, где жители блёклого, затерянного с концами в подмосковных дачах посёлка осенью, потихоньку, но упрямо и даже с азартом, привычно, из года в год, копали себе совхозную картошку для пропитания, запасы немалые делая в кладовках и погребках, и Марк выходил на промысел и нас привлекал иногда к работам на поле, и улица, на которой он жил, называлась, конечно же, Полевой, и картошка сгружалась в погреб, который вырыл однажды, самолично, под настроение и, наверное, по вдохновению, Коля Боков, друг Марка, философ, прозаик, поэт, человек с голубыми глазами; потом, после того как погреб вырыт был и картошка в нём обеспечивала питание Марку Ляндю на целую зиму, — Соня стала женой Коли Бокова.

Однажды летом в Крыму, в Коктебеле, с его свободой, бывшей по сердцу всем нам, тянувшимся отовсюду сюда, к берегам киммерийским, к блаженству и счастью, к морю, к синим горам и холмам, к людям, любящим эти места, коктебельцам, как их называли и теперь называют, хоть сильно поредели ряды их, когда-то, в полном смысле этого слова характерного, неисчислимого, году в шестьдесят восьмом, только добравшись в свой рай прибрежный с Кавказа, разительно непохожего на Киммерию с её благородством строгим, с Кавказа буйного, пышного, пряного, декоративного, всё же чуждого несколько мне, в отличие от домашнего, милого сердцу Крыма, из Сухуми, где жил я предместье Диоскурии, древнего города, в доме знакомых, у моря, едва отдышавшись с дороги, выхожу я на коктебельскую набережную, чтобы прогуляться и оглядеться, и вижу такую картину: идут мне навстречу бодро вдоль шумной сине-зелёной, с зигзагами пенными, линии прибоя, видением чудным, Соня с Колей, оба весёлые, загорелые дочерна, невероятно спортивные, сейчас бы таких для рекламы немедленно сняли, в кедах, с тяжёлыми рюкзаками, и рассуждают спокойно, понимая друг друга, пожалуй, с полуслова, нет, с полувзгляда, было так, о высоких материях.

Оказываются, они путешествовали, вдвоём.

Пешком, на ходу рассуждая о том да о сём, без надрыва, наблюдая красоты окрестные, прошли они через высокие кавказские перевалы, вышли к морю, дальше пошли, да так вот и оказались почему-то уже в Крыму.

Страсть к ходьбе, везде и всегда, в Коле жива и поныне, как выяснилось позднее, со временем, лет через тридцать.

Возвращавшиеся на родину эмигранты охотно рассказывали, что Боков и половину Америки исходил, по привычке давнишней, пешком, и всю исходил Европу, и до Святой земли добрался, и всю её тоже исходил, на своих двоих, разумеется, то есть пешком.

Это вполне в его духе.

Может быть, для походов своих он, любитель пеших прогулок, на свежем воздухе, на длительные расстояния, и из пещеры, которую вырыл он для себя в благословенной Франции, выбирался. Да наверняка.

Не сидеть же ему годами в темноте глухой, под землёй!

Иногда, и он это знает лучше многих своих знакомых, полезно и поражаться.

Ну а Соня, расставшись с Колей, отбывшим в эмиграцию, когда-то, в семидесятых, — преспокойно, без всяких сложностей, по собственному желанию, по известным лишь ей одной и весомым, наверное, причинам, уехала за границу.

Как только у нас в стране, после развала Союза, появилась, пусть и особая, не такая, как в прочих краях, необычная, мягко скажем, ибо жёстко стелет судьба для России пути-дороги, заковыристая свобода.

Живёт она вроде в Германии.

Стала теперь знаменита.

Музыка Сонины всюду, повсеместно и повсемирно, широко, постоянно, с триумфом исполняется. Музыка — всё для Сони. И здесь она, как говорится, дома.

Не знаю, ходит ли Соня, как в былые, уже легендарные, отшумевшие времена, подолгу, много, — пешком.

Но уверен я твёрдо, что прежние пешеходные путешествия ей на пользу только пошли.

Данте, бродя в одиночестве по каменистым тропам Тосканы, в тоске по Флоренции любимой, его, поэта, изгнавшей куда-то в пространство, а может быть, прямо в вечность, терцины своей «Божественной комедии» сочинял.

Жаль, что когда-то, в конце шестидесятых, Эрнсту Неизвестному, при иллюстрировании этой книги, не удалось хождение именно выразить, движение, — впрочем, задачи у него были рода другого, да и ещё и офорт, безусловно, — техника не такая уж подходящая, что тут

поделаешь, для передачи движения, — но зато Эрнст вполне успешно осуществил движение в пространстве, прошёл сквозь время, — и, переработавшись в Америку, ездит себе, при желании, по миру, иногда заглядывая и на родину, и наверняка такое движение, без принуждения, исключительно по желанию, помогает ему и в творчестве.

Соня же Губайдулина, без сомнения всякого, помнит прежние путешествия.

И они, вполне вероятно, стимул дают и движение нынешней её музыка.

Откуда она, эта музыка?

Всё оттуда же, из крылатых, невозвратных шестидесятых.

Потому что и Соня сама — из породы людей, о которых можно сказать лаконично: люди шестидесятых.

Талантлива? Да, конечно.

Даже очень. Дано ей это.

Стремление в ней — извечно.

К Востоку. К началу света.

Запад есть Запад. По Киплингу.

Мы привыкли читать между строк.

И на Сонином нотном стане

прочитаем: Восток есть Восток.

В ней живо — самое главное: горение. Поэтому-то — жива её музыка в мире, некая часть которого была ещё в шестидесятых изведена ею — пешком.

Ну конечно же — как же всем без него в беге столичной обойтись, мне скажите? — Василий Яковлевич, художник, известнейший, нет, знаменитый, по всем статьям именитый, такой, что заткнёт за пояс любого запросто, Ситников.

Борода, жёстким клином, всклокоченная, со снежком седины, — вперёд.

Руки, жилистые, ухватистые, рабочие, длинные, сильные — взлетают мгновенно вверх, опускаются разом вниз, раскидываются неожиданно, крестом широчайшим, в стороны, смыкаются, вновь приходят в стремительное движение.

Ноги в старых, но крепких ещё, сапогах начищенных по полу притоптывают, приплясывают.

Фигура крепкая, сбитая — никакого лишнего жира, сплошные бугристые мышцы.

Кость прочная и тяжёлая, ничем её, даже битой бейсбольной, которой ныне пользуются бандиты, сроду не перешибёшь.

Глаза, то с прищуром едим, то широко раскрытые, в зависимости от разных обстоятельств житейских, пронзительные, с этаким, в жёстком зрачке, лукавым смешком, с хохотком; но вот всё вокруг примечающий до поры до времени взгляд превращается вдруг в стальное, разящее наповал при надобности остриё — и тогда уже ждите атаки, тогда леденеют глаза, зрачки сужаются, слово прицеливается в кого-то пощады не знающий

Ситников, рассчитывает свой выстрел из лука, мало кому видимого, но я всегда его, лук этот, видел, так это мне представлялось, — и тетива тугая привычно, умело натягивается, и стрела, удивительно меткая, блеснув на мгновение, как молния, раскалённая до предела, обжигающая, разящая даже видом своим, летит и точно, в десятку, в яблочко, попадает в нужную цель, промахов не бывает.

А потом опять он дурачится, ёрничает, балагурит, шутит этак порой необычно, грубовато, шероховато, по-народному, а ля юнос, да всё с вывертами, с поворотами, с закидонами вроде, с бредятинкой, а прислушавшись — и тут же понимаешь: всё это, братцы, и свежо, и оригинально, и умно, даже очень умно, и всегда по делу ведь сказано, вовсе не просто так, не для красного, с перцем, словца, не для национального во все, с русским духом сквозь мглу бесчашья безнадёжного, колорита, совершенно не для того, чтобы с диким, дремучим запалом, постоянно, упрямо подчёркивать, что он не такой, как все, — нет, было здесь нечто большее, здесь была своя философия — поведенческая, бытовая, повседневная вроде бы, пусть, а на самом-то деле — творческая, ибо всё превращалось в творчество, и каждое слово его, словцо, иногда и молчание, было чем-то вроде мазка крохотной лёгкой кисточкой по холсту, и соткано всё было из красочных частных, из деталей мельчайших, каждая из которых работала, будучи частью целого, только на целое, и потому словесные тирады его, рассыпчатые, хрустящие на зубах, как сахар в детстве, и все грозящие перейти границы кем-то дозволенного, переходящие эти границы условные, смело, с куражом врождённым, с победным видом, с геройской повадкой: мол, казак всегда ведь в седле, не забывайте об этом, современные люди, богемная орда, разномастная слишком, чтоб в расчёт её брать, — высказывания, неизменно парадоксальные, поучения, наставления, присказки, прибаутки — неотделимы вовеки от его ювелирной живописи, да и весь он, такой как есть, вообще неделим, поскольку в любой ситуации — целен, вообще он — сплошная народная выживаемость и независимость, — и, юродствующий, он всегда защищён, и на нём не драная, решето, да и только, дыры, да прорехи, да швы, одежонка, но кольчуга, и кисти его, стреле его, слова его — всегда и везде при нём, вот и выходит, что он — воин, порода такая, ничего не поделаешь с этим, он воин, пускай одиночка, но так вот, пожалуй, и надо, и это его устраивает, он в поле — во всеоружии, один, а ему — хорошо, ни от кого не зависит он, сам хозяин себе, сам себе голова, и поступки он совершает, поскольку способен совершать поступки, и даже, пусть звучит это громко, подвиги, но бывало

ведь с ним и такое, и я-то об этом знаю, и что-нибудь отвергает решительно, принимает что-нибудь горячо — в одиночку, сообразуясь с тем, что ему подсказывает компас верный, его чутьё, а чутьё у него отменное, — и он из своей коммунальной комнаты в центре столицы, где всегда он в центре внимания, выбирается в гости, и там, в шумной компании, тоже, незаметно как-то, без всяких усилий лишних, естественно, потому что нельзя иначе, он таков, поймите, оказывается почему-то в центре внимания, и крутится этаким штопором, ввинчивается, вонзается в самую суть того, что ему открывается вдруг, по наитию, по чутью, и взлетает слегка над полом, и парит в прокуренном воздухе, и весь уходит в движение, поскольку никак нельзя ему без этого, жизнь — в движении, и незачем, право, лодырничать, — работайте, братцы, — «ефто» спасение ваше, а в будущем всей путаной жизни вашей и ваших упорных трудов оправдание, да какое!..

Ситников в СМОГе — был.

Ситников СМОГ — любил.

А вернее, любил он, сразу выделив их из прочих, стихи — мои и губановские.

Помню множество встреч, разговоров.

Помню Ситникова — счастливого: есть поэзия! — русское слово, несмотря на запреты, живо!

Помню его — за работой: холст, мазок за мазком, расцветал. Человек этот был в Москве и во всей стране — очень нужным.

В шестидесятых люди сами тянулись к нему.

Да и позже к нему тянулись.

Для многих художников наших был учителем лучшим он.

Вразумил их вовремя, долго наставлял, опекал, защищал, дал им веру в себя, вывел в люди.

Создал школу свою живописную.

Был любим, уважаем и чтим.

И зачем он уехал в Америку?

Чтобы там — захиреть, умереть?

Непонятно. Непостижимо.

Знать, чужое там было поле.

Оставался бы в поле отечественном, пусть — один, как всегда, по привычке, по традиции давней своей, — может, пожил бы он подольше. Вот и «ефто». Что за судьба?

Впрочем, был он всегда — в движенье, а за ним ждало — постижение: поля нового, доли, боли. Путь. Видать, недосуг ему было потрабочий стяхнуть со лба.

Семья Кропивницких. Славная.

В богеме — наверное, главная.

По всем статьям — знаменитая.

Словно книга — слегка приоткрытая.

Сквозь бесчашье — брезжащий свет.

Групповой — как уж вышел — портрет.

В самом центре, конечно, Евгений Леонидович Кропивницкий.

Глава семейства, большого, творческого. Патриарх.

Самый главный и самый важный в семействе своём талантливым, а может быть, и во всей богемной столичной, таинственный, знаковый человек.

С виду тихий. Всегда спокойный.

Так могло показаться. Кому-то.

Чужим, посторонним людям.

Властям. Но только — не нам.

Внутри — клочкотали страсти.

Скрытые от людских, любопытных чрезмерно, глаз.

Не пускались туда — напасти.

Горение в нём великое — было не напоказ.

Вся тяжёлая жизнь бывала иногда прорывалась наружу.

Но — тут же, чуть обозначившись, показавшись, обратно пряталась.

Нельзя, чтобы все — видели.

Нельзя, чтобы многое — знали.

Кому какое, простите и поймите, до этого дело?

— Судьба нелёгкая, — промолвил Лао-Цзы, — как сказал в своей книге «Сонеты на рубашках» его ученик прилежный, Генрих Сапгир.

Генрих — тот вроде бы, так утверждают, буквально одну в своей фамилии краткой, для благозвучия, видимо, когда-то, под настроение, неизвестно зачем, изменил.

Был — углублённый в себя, своим становлением занятый, долгим, упорным, Сапгир.

Стал — обновлённый, встряхнувшийся, состоявшийся как поэт, авангардный, богемный, Сапгир.

«Б» на «п» исправил зачем-то.

(У Хлебникова в «Ладомире» сказано было так:

— Это шествуют творяне, заменивши Д на Т...

Но это — совсем о другом.)

Старый, опытный, мудрый, живущий в мире своём, сберегаемом в глубине души, Кропивницкий — ничего никогда в своей жизни трудной не исправлял.

Он принимал её — всю, такую, какой была она, какая была ему однажды, свыше, — дана.

Он — радовался бытию.

Верил — в звезду свою.

Своему многогранному дару цену прекрасно знал.

Чутью своему точнейшему давным-давно доверял.

Головы, даже в годы тяжёлые, слава Богу, он не сложил.

Он — просто-напросто жил.

Но, замечу тут же, при этом — и не совсем просто.

Был — сплошным продолжением роста.

Духовного, прежде всего.

Творческого. Извечного.

Везде и во всём — человеческого.

Крайне важного — для него.

Жил — свет в небесах любя.

Жил — землю славя свою.

В аду — жил, словно в раю.

Жил он — внутри себя.

А ещё жил — внутри своего, надёжного, узкого круга.

Во время оно им созданного.

Буквально из ничего.

(Так могло показаться кому-то.

Но мне так вовсе не кажется.

Круг доверия и уюта.

Столько судеб в нём вместе свяжутся!)

И получилось ведь, надо же, — кое-что. Даже больше — что-то.

Нечто. Нити срослись духовные. Разрослись, как цветы, щедроты.

Небольшого, в общем-то, роста, но довольно широкий, устойчивый, спокойно, привычно, уверенно ходил он по той земле, которую постигать не уставал, разную, попавшую вдруг в историю, по-своему, разумеется, с неповторимыми нотами, в своём ключе и тональности, без помпезности, без банальности, с откровениями, прозрениями, наблюдениями точнейшими, со словами наивернейшими, ужасаясь всему и тут же неизменно им восхищаясь, ни с властями, ни с общим бредом по привычке не пререкаясь, на своём пути одиноком страстно, искренне воспевал.

Обожал он прогулки, долгие и неспешные, — на природе.

Замечал он то, что другому не дано заметить, — в народе.

Получал он заряд энергии от своих наблюдений в мире.

Лаконичен был он в письме, ну а мыслил — гораздо шире.

В домашних условиях — сживал вроде в сторонке где-то.

Но оттуда — из глаз его — вырывались потоки света.

Но оттуда лишь — от него — исходили всегда все токи.

И стихии кипели в нём, продлевая земные сроки.

И все нити незримые крепко держал он в своих руках.

Вот какие бывают силы в некоторых стариках.

Он был — прирождённый, редчайший, здесь, у нас, педагог. От Бога.

Ненавязчивый. Терпеливый. И давал он всем нам так много!

Был учитель он — по призванию. Был наставником. Добрым другом.

Звёздным странником. Вечным путником — над земным завьюженным кругом.

Он был — человек созидающий.

О грядущем своём — не гадающий.

Обретающий всё — в движении.

Был он — вечное постижение.

Продолжение всех традиций.

Нарушение всех амбиций.

Утверждение всех новаций.

Сквозь бесчасье — всех навигаций.

Всех сражений — с жестоким злом.

Словом, поднятым — над числом.

Как фонарь. «Ищу человека!»

Неотрывным был он — от века.

Своего. Каков уж он — есть.

Был он весь — как добрая весть.

В жизни многих. И — в судьбах их.

Был всегда он — среди своих.

Благо, были свои — при нём.

Не играл он зазря — с огнём.

Он в себе его смог — сберечь.

Продлевал он — русскую речь.

Сохранял её — от невзгод.

Летописец. И — пешеход.

Бурь свидетель мирских и гроз.

Было всё в нём всегда — всерьёз.

Шёл он — к сути. В корень глядел.

Никогда не сидел — без дел.

Дело жизни — школа его.

В ней — заветов его торжество.

Дело жизни — в созданном им.

Был он свыше от бед храним.

И прошёл сквозь них — словно луч.

Был он — верой своей могуч.

Был он — тайной своей силён.

Был велик своим светом он.

Светом правды. Светом тепла.

Перед ним исчезала мгла.

Перед ним открывался — путь.

Внутрь явлений. В самую суть.

Жизни смысл прояснялся вновь.

Ведь в основе всего — любовь.

Ко всему и ко всем вокруг.

Может, кто и воспрянет вдруг.

Может, что и очнётся вмиг.

Вот какой был этот старик.

И он, прозорливец, — учил.

Он, отшельник, творец, — созидал.

Мало того, что в течение долгих, достаточно сложных, а порою кошмарных лет, в затворничестве своём, плодотворном, сознательном, творческом, в отрешении от мирской, чуждой ему суеты, социальных проблем, барачного, подмосковного, дикого быта, столичного, заурядного, вопиющего безобразия, всеобщего, всесоюзного, на почве родной наростом прижившегося бесчасьа, написал он такое количество своих уникальных стихов, что, уже в нагрянувшей с явным

запозданием для него, не сдающегося, упрямого человека, досадной старости, когда он не то чтобы сразу же, нет, с боем, сопротивляясь всеми силами, духом всем, старению, неприемлемому для горения, одряхлел, но как-то по-стариковски, что, впрочем, вполне объяснимо, если возраст вспомнить его, устал от всего вокруг, с трудом умещались эти писания многолетние во множестве чемоданов.

Мало того, что поистине, полагаю, неизмеримое число работ живописных и графических создал он.

Создал он ещё и свою — нет подобных ей и в России, и в далёких западных странах, в мире нет ей подобных, — школу.

Руководил Кропивницкий — упорным противостоянием отвратительному режиму, всяческой официальной шелупони в русском искусстве — он противопоставлял своё собственное искусство и искусство людей талантливых из своего, надёжного, близкого окружения.

Приветливый, очень воспитанный, чрезвычайно простой в общении с людьми, был он внутренне горд, всегда и повсюду помнил о собственном, личном достоинстве, о крылатой своей душе, и ещё, подчеркну сознательно, прекрасно знал себе цену.

Ещё всё той же, столь щедрой на события и на знакомства хорошие, важные, осенью шестьдесят четвёртого года, когда я, провинциал, степняк, молодой поэт, поступив довольно легко, несмотря на огромный конкурс, в Московский университет, стал жить наконец в столице, когда, непрерывно знакомясь с творческими людьми, впервые услышал о нём, а потом и увиделся с ним, я отчётливо понял: он — легенда, причём не из этих, на скорую руку состряпанных, а настоящая, давняя, с прочной, серьёзной основой, со всеми необходимыми для этого предпосылками, со всем широчайшим, пёстрым, прямо-таки устремлённым к нему одному стечением самых разных порою жизненных и творческих обстоятельств, которые все работали — на него, всегда — для него.

Там, в своей тишине, в простоте, в затворничестве многолетнем, был он — может быть, самой сложной и самой загадочной личностью из всех знакомых, которых я считал таковыми.

И живопись ведь его, внешне вроде бы лёгкая, простенькая, отчасти, в чём-то, хотя бы в самом взгляде на мир, наивная, на поверку, на самом-то деле — очень сложная, с элементами своеобразного эпоса и лиризмом сквозным, трагическая.

И стихи его вроде бы, надо же, такие уж, ба-тюшки-светы, ничего себе, братцы, простенькие, порой почти примитивы, ну вот, например, такое исчерпывающее, точное описание некоей осени: «Улетели птички. Отсырели спички», —

на поверку тут же оказывались весьма и весьма непростыми, сложными, многоплановыми, это было наполненный всеми приметами бытия, всей окрестной, будничной, праздничной, бестолковой, неповторимой, многослойной и многоголовой, той, что щедро была дарована свыше, с детства, той окружающей душу в зрелости жизнью, мир.

Кропивницкий старый, Евгений Леонидович, сам был — целый, всеми звёздами озарённый, всеми радостями звучащий, всеми горестями скорбящий, всеми чаяниями наполненный до предела, верой хранимый и любовью спасаемый, — мир.

И те его современники, соратники, собеседники, кто понимал это, благодарны были ему — за то, что могли вместе с ним бродить в этом дивном всё-таки, несмотря на все сложности или несуразности всякие, частности житейские, огорчения и заботы насущные, мире, могли в нём жить, по желанию, а могли и на время выйти из него, чтобы после опять вернуться, — мир Кропивницкого был объёмным, полифоничным, там вдалась было волшебной, по-своему тонкой, серьёзной, грустной и светлой, музыки, настоящей, собственной, страстной, современной, из века двадцатого, конкретной, трезвой, осознанной как выход из всем нам навязанного социального тупика на просторы нашей Вселенной, вдалась было там естества, да и ещё и того вещества, из которого, как планеты, неустанно формировались, под его наблюдением пристальным и всегдашним его руководством, словно им вдохновенно изваянными из рук его выходили, — новые личности творческие, со своими уже, отдельными, так задумано было заранее, так и вышло, больше ли, меньше ли, связи с миром главным учителя ни на миг никогда не теряющими и незримо им направляемыми на путях земных и небесных, но тоже самостоятельными в движении жизненном, собственными судьбами и мирами.

Как уже было сказано, старый Кропивницкий был — природжённый, дерзновенный, упорный творец.

Следует помнить при этом, акцент здесь особый сделаю, что был он ещё и боец.

Да, представьте себе. Так — было.

Потому что, вроде бы редко появляясь на людях, там, где кипела божественная жизнь, где бурлила жизнь повседневная, где скисала жизнь государственная, советская, узаконенная, замешанная на крови сограждан, чумная, коварная, в основе своей бездарная, мифическая отчасти, с мистическим едким душком, от которого в горле ком нарастал, и сердце сжималось в тревоге, всё возрастающей, в тоске, пределов не знающей, стараясь не навлекать на себя различные беды,

гонения и невзгоды, которых и так уже было на его веку предостаточно, вёл он — всю свою жизнь — борьбу сознательную со злом во всех его проявлениях.

Побеждал он в итоге зло тем, что нёс он людям — добро.

Свет был в нём, животворный, ясный.

Свет развеивал мглу и тьму.

И тянулись люди к нему.

Знали все: человек он — прекрасный.

Ко мне относился он всегда с теплом и вниманием.

Понимал, что мои задачи творческие — совсем иного рода, иного направления, что ли, в стихии русской речи, строя иного, духа, света, пути, восприятия всей Вселенной как дома единого, ясной музыки изначальной, и наития, и чутья, и всего, что формировало непрерывно мою поэтику, и всего, что было моим, незаёмным, особенным, личным, было голосом и лицом, слухом, зрением, осязаньем, осознанием себя в распаханом чувствам всем и поступкам всем непростою и прекрасном всё же, мне дарованном свыше мире, нежели все его чёткие собственные задачи.

Уважал — за эту мою очевидную самостоятельность, непохожесть на прочих, которых было вдалась в те времена.

И я в нём ценил всегда его собственную, безусловную непохожесть на всё остальное, и уважал его искренне — за то, что сумел он выжить, сохранить в себе свет, продлить — сквозь безумие прожитых лет, отшумевших вдали, — несравненное, да, читатель мой, именно так, помни это, горение творческое.

В Кропивницком старом, в одном, — как матрёшки, мал-мала меньше, — все им созданные поэты и художники, начиная с Холина и Сапгира, вся немалая, разношёрстная, лианозовская компания. Но его и ещё на стольких же, полагаю теперь, хватило бы.

Но ему и того, что есть, было вполне достаточно.

Знал он меру во всём. Чувство меры в высшей степени было ему, патриарху седому, присуще.

В стихах моих — он увидел, сразу же, с первых же строк, услышанных им, а потом, чуть позже, ещё и прочитанных с листа в самиздатских книгах моих давнишних, которые, разбредаясь по всей стране, добирались и до него, совсем другой, интересный ему, импульсивный, собственный, наполненный всеми красками и звуками бытия, изумлявший и притягательный, собственный светлый мир.

То есть то же, что видел я и в его, Кропивницкого, творчестве.

Поэтому с ним общались мы — понимая наличие в каждом из нас абсолютно разных,

существующих самостоятельно в поэзии русской, целостных, жизнестворных, личных миров.

Так вот, в советской действительности, в провозможности дней дождливых, в холода ли, в жару ли, весною ли, в дни, когда тополиные почки разбухают и вот выпускают на волю, поближе к свету, молодую клейкую зелень первых свежайших листков, а дети играют в мяч, и кто-то хлопает форточкой, желая всей грудью вдохнуть побольше тёплого воздуха, и где-то играют гаммы, а воронок милицейский везёт кого-то в участок, и спички уже на кухне барачной не отсыревают, и птички вовсю поют, всё равно — когда, всё равно — в былом, где когда-то все ведь мы, соратники, современники, собеседники давние, жили, общались, порою дружили, задушевно, запросто, с пользой для каждого несомненной, с тайной в каждой душе сокровенной, с тягой к истине впрямь незабвенной, два мира, друг в друга вглядываясь, присутствию каждого радуясь, друг с другом встарь говорили.

Потапова Ольга Ананьевна.

Художница чудная. Тихая, задумчивая, таинственная.

Свет нездешний. Чистейший цвет.

Взгляд — сквозь время. Другого — нет.

В нём — обломки земных примет.

Звёзд остатки. Хвосты комет.

Лет растаявших лёгкий след.

Звук былого. Простой ответ.

На вопросы — извне — любые.

Вздых невольный. Пути мирские.

В поднебесье — тропа своя.

Человечьего знак жилья.

Пусть — провинция. Пусть — барак.

Пусть — Москва. Значит, надо так.

Мрак — отхлынет. И мгла — уйдёт.

Если сердце — чего-то ждёт.

Если в душу придёт — весна.

Если цель впереди — ясна.

Если холод средьзимний — лют.

И спасает — всегдашний труд.

Художница необычная.

Выразительница недосказанного.

Сказительница. Рукодельница.

Может быть — даже волшебница.

Долгие годы — супруга Евгения Леонидовича.

Верная, добрая, умная, достойная, светлая женщина.

Дама. Соратница. Друг.

И слова её — все, без вычетов, негромкие, но серьёзные, значительные во всём, в любой, казалось бы, мелочи, рачительные, разумные, светящиеся на солнце и при свече, горящей в обиталище скромном, на грани города и раздолья пригородного, на грани забвения и вдохновения, откровения и прозрения, в котором ясны очертания других, небывалых миров, уводящих

в дали, где грезится пора блаженных даров, слова со своею музыкой, прерывистые, волокнистые, с сквозной золотой нитью, с прожилками тонкими, — чистые.

И работы её — прозрачные, словно камешки-самоцветы коктелевские в дни, когда плещут волны, и берег весь, влажный, летний, усеян ими, собирай — не хочу, бери, если хочешь, в ладонь, смотри, перемешивай их с другими, потихоньку перебирай, словно чётки, сложи в узоры, чтоб ненастья нам ждать нескоро, чтобы цвёл киммерийский рай.

И жизнь её, долгая, трудная, жизнь юдольная, жизнь земная, — при всём, что пришлось ей вынести на пути своём, — очень светлая.

Такая, что чудится мне за нею ныне — сияние.

Лев Кропивницкий. Художник.

Авангардный, конечно. Иначе, наверное, и быть не могло.

В молодости — нахлебался горя, сидел в лагерях, вместе с другом своим, художником очень хорошим, тонким, несколько неотмирным, как могло показаться кому-то, но на самом-то деле просто преображавшим явь по-своему и видения создававшим на фоне страшной действительности советской, в живописи и в графике, лаконичной и удивительно тонкой, трепетной, точной, волшебной, Борисом Свешниковым.

Испытаний разнообразных в жизни Льва Кропивницкого было предостаточно, даже с избытком.

Сын Евгения Леонидовича, он и путь в искусстве избрал себе — непростой. Но — творческий. То есть — в непрерывном движении, в поиске ритмов, образов, красок, форм, новых способов и возможностей выражения мыслей, чувств, дерзких замыслов, смелых решений живописных, графической резкости в каждой линии, грубоватости первобытной какой-то и всё-таки вместе с тем эlegantности, даже, я сказал бы, хорошей изысканности в том, что он создавал годами терпеливо, сосредоточенно, как и надо, впрочем, художнику настоящему в жизни вести себя, находиться в трудах всегда, поднимать постоянно планку для себя, чтобы рваться ввысь, вглубь и вдаль, да и марку держать, зная цену себе и другим, в непрерывном этом движении, в беззаветном искусству служении быть, везде и повсюду, всегда, в ситуациях непредвиденных и в быту, в мастерской, у мольберта, неизменно, самим собою

Он многое сделать успел.

Был в жизни он честен и смел.

В искусстве он был — новатором.

Открывателем новизны.

Любителем старины.

И вместе с тем — реформатором.

Не просто — искателем. Нет.

Умел он — своё находить.

Умел — за собой уводить.

Из тьмы выводить — на свет.

Живопись, графика Льва — динамичными были всегда, с энергетикой, в них клокочущей, с электрическими разрядами, с раскалёнными, воспалёнными, оголёнными, словно лезвия, словно иглы колкие, молниями, с гармоничным, при всём абстрактном тяготении к дисгармонии, грозovým, ненастным звучанием, с бесконечным, сквозь мглу, молчанием, с угловатым тонов течением, с узловатым, крутым влечением к просветлённости, столь желанной, что была она долгожданной и всегда приходила вдруг, вовлекая в незримый круг слух и зрение, чувства все, в жарком, огненном колесе побывав поневоле, — так возникал сквозь работы — знак: жизни, песни, сплошной борьбы, знак надежды и знак судьбы.

Лев не лез никогда ни в какие, даже в самые перспективные или модные, группировки.

При множестве тесных дружеских и приятельских давних связей — был всегда он, всю жизнь, одиночкой.

Он писал и стихи. Опять-таки не такие стихи, как у всех.

Собственные. Особенности. Такие, какими они получались. Оригинальные. В каждом слове и в образе каждом, да и в букве любой — свои.

В девяностых годах Толя Лейкин издал его книгу, с его же выразительными рисунками.

Помню Льва у Сапгира — собранный внутри, приземистый, жёсткий, крепкий, с железной защитой от всего, что мешало ему.

Взгляд из-под крепких очков — как перископ — наружу — ненадолго, бывало, выдвигается: так, обстановка ясна, — и снова взгляд убирается, как перископ, вовнутрь.

И — подальше от суеты.

В свой, хранимый от глаз недобрых, драгоценный внутренний мир.

Хватало ему вполне всего, чем давно привык он заниматься, день изо дня.

Прежде всего — своего, душу спасавшего, творчества.

Всё остальное — потом.

Занят он был — трудом.

Кропивницкая Валентина. Художница. Дочь Евгения Леонидовича Кропивницкого.

Лицо у Вали — сквозь время, сквозь драмы этого времени, и радости, и печали всегдашние — белое, чистое.

Глаза с большими, какими-то избыточно влажными, тёмными, с особым, сквозь ночь, свечением, внутри, в глубине, зрачками, то грустные, то с весёлою в них искоркой, возникающей сквозь грусть и медленно тающей в хрустальном их отдалении от всяческой суеты, от бреда, для

них излишнего, от шума, совсем не слышного, живущие, как цветы.

Спокойная. Терпеливая.

Конечно, трудолюбивая.

Воспитанная. Рассудительная.

В каждом жесте своём — убедительная.

Все грехи разным людям — прощающая.

Ничего им — не обещающая.

Кроме дивной своей доброты.

Кроме сложной своей простоты.

В тишине её, вовсе не в омуте, водились зверушки некие, сказочные, из её щедрого воображения вышедшие и живущие собственной странной жизнью.

Их она и рисовала.

Была Валентина женой давней Оскара Рабина.

Преданной. Любящей. Верной.

Всё с ним в жизни супружеской за долгие годы — вытерпела.

Всё, что выпало ей на долю, как сумела, перенесла. Молчаливая. Говорила, особенно в шумных компаниях московских, богемных, буйных, говорливых, крикливых, мало.

На людей смотрела она — вроде бы издали, из той страны потаённой, где жили изображаемые ею, всегда загадочные, в природе таких не встретишь, лишь на её работах поводишься с ними, зверушки.

Была хорошою дочерью.

Хорошей, наверное, матерью.

Была вообще — хорошей.

Без негативных черт.

За гранью, вдали, — всё прочее.

Стелилась дорога — скатертью.

Покрылась — белой порошей.

Мир был — жестокосерд.

Чего же в нём только нет!

Былого в нём — нет в помине.

А Валя светла поныне.

И нет в ней совсем — гордыни.

Есть — вера. И взгляд — из бед.

С такими — стоят святыни.

Сквозь морок ненастных лет.

Сквозь весь их разлад и бред.

Страдалица. Берегиня.

Предутренный ранний иней.

След лёгкий за гладью синей.

Неспешный вечерний свет.

Рабин Оскар. Художник.

Лидер нонконформистов.

Интересная, подчеркну — далеко не случайно, фигура.

Был очень на месте — в Москве.

Холсты свои продавал порою ещё сырыми, едва успев написать их, — настолько велик был спрос в советские годы на них.

Раз в неделю, в шестидесятых, когда жил он с семьёй своей уже не в бараке пригородном,

а в Москве, на Черкизовской улице, принимал он, маэстро, известный и на родине, и за границей, и на этом акцент я сделаю, что вполне понятно, гостей.

Показывал им свои, как правило, немногочисленные, но зато всегда впечатляющие, безотказно, в десятку, работы.

Невозмутимый, с выбритой, задолго до нынешней моды на бритоголовость повальную тусовочную, головой, поблёскивая очками, стоял у мольберта, изредка давая, к месту, ко времени, краткие пояснения.

Ставил вначале один холст, а потом, помедлив, помолчав, покурив, другой.

Обычно их было немного.

Потому что новые вещи сразу же, незамедлительно, получалось всегда только так, повелось так давно, уходили в чьи-то хваткие, цепкие руки, в основном к иностранцам, любителям авангардного, запрещённого в отечестве нашем, искусства.

Небольшой, без излишеств, скромный, даже скудный, запас работ всё-таки дома держал Рабин — чтобы, при надобности, было что показать зарубежным гостям и согражданам.

Человек очень трезвый, практичный, с политической жилкою, умный, временами казался он мне мозговым, не иначе, центром некоторой, не всей, всех не брал он в расчёт, зачем, ни к чему тратить порох, части московских, близких ему в разной степени, составлявших тесный круг, по различным причинам, даже дружеский круг, наверное, известных у нас и на Западе, и особенно там, на Западе, где свобода была, художников.

Да так оно всё и было, если в корень смотреть, на деле.

Идеи Рабина, все, без вычетов, осуществлялись, и всегда — с неизменным успехом.

Ну вот, например, пресловутая «бульдозерная», со скандалом, с шумом в прессе западной, выставка.

Трезвость в нём и практичность жили везде и всегда.

В трудах его поступательных.

В действительности советской.

И даже в обычном застолье.

Выпить и закусить хорошенько он очень любил. Но головы Оскар никогда и нигде не терял.

Ничего не могу сказать о его как будто укрытой плотным чехлом образovanности.

Он не любил беседовать.

При встречах всё больше помалкивал.

В период нашего СМОГа я довольно часто к нему приводил своих многочисленных, рвущихся поглядеть работы его, знакомых.

Оскар принимал — всегда.

Можно было, под настроение, просто взять да приехать к нему, днём ли, вечером ли, позвонив ему, и сказав, что хочешь увидеться, и услышав

его «приезжай», чтобы там, в квартире на первом этаже, побыть у него час-другой, а то и подольше, немного с ним, в кои-то веки, спокойно поговорить, немного, само собою, и это понятно, выпить.

Оскар всегда был радушен.

И приветлив. И добр. И внимателен.

Был хозяином в доме своём.

Был — моим хорошим знакомым.

Не больше? Но и не меньше.

Приятелей и друзей и так у меня хватало.

Помню его — неизменно сдержанным в проявлении разнообразных эмоций, полностью отдающим отчёт себе в том, что теперь положение у него, несмотря на всю очевидную неофициальность его занятий любимой живописью, на удивление прочное, что молодость и нищета — где-то в далёком прошлом, как и его ученичество у старого Кропивницкого, а теперь есть квартира хорошая, дом в деревне, для отдыха, есть, деловые знакомства всякие, среди них и солидные, важные для карьеры художника, есть, есть надёжные, постоянные, год от года всё более крупные, что любому приятно, заработки, есть известность, всё более крепнущая, да и прочее, необходимое в жизни, есть, остальное же — будет, обязательно вскоре будет, — и усы его, коротко стриженные, шевелились над плотно сжатыми, с ядовитым изгибом, губами, и только в глазах его чудилась иногда мне внезапно мелькающая то ли грусть, то ли просто усталость — от чего? от кого? почему? — никому не узнать никогда.

В семидесятых Рабин, с Валею и сыном Сашей, навсегда уехал на Запад.

Саша вырос, художником стал.

А потом Саша Рабин — погиб.

Как-то видел я по телевизору, в передаче о нынешних «русских парижанах», действительно странных, для чужого-то мира, людях, то есть о бывших московских, в прежние годы, художниках, ныне живущих в Париже, Оскара Рабина с Валею Кропивницкой — оба такие тихие, что тишина в них сущностью их была, сдержанные, молчаливые, с виду совсем, как в сказке русской, старик со старухой.

Будто бы не в парижском ателье сидят они рядышком, а где-то в ином, нарисованном Валею, сказочном мире, даже, возможно, мирке, небольшим, симпатичном, уютном, на берегу спокойного прозрачного водоёма, среди широко разросшихся густых острелистых растений и славных, добрых зверушек, и солнышко пригревает, или в небе сияет луна, всё едино, всё тихо, спокойно, здесь уютно им, здесь они дома, к ним подходят зверушки добрые, разговоры с ними заводят, а они сидят и молчат.

«Простые, тихие, седые...»

Не о них это было сказано.

А припомнишь — так вроде о них...